

Шестая койка

Когда издательство затеяло переиздать моих двух “Паровозовых”, было решено выпустить их в новых обложках, уже в третий раз. Это чтоб и мне стало казаться, будто у меня не две книжки, а полдюжины. А на обложки придумали поместить мои фотографии того времени, о котором идет речь в повествовании.

Фотографии той поры у меня были. Немного, десяток-полтора. Их сделал в начале восьмидесят третьего мой друг Ванька Романов. Он тоже работал медбратом, мы с ним одновременно пришли в реанимацию, как только окончили училище при Первом меде. Но если я туда попал случайно, можно сказать — сдуру, подав документы в училище после первого провала в институт, то Ванька ни о каком врачебном поприще даже и не помышлял. Просто решил стать медбратом, безо всяких дальнейших перспектив.

Он происходил из церковной семьи, что по тем временам казалось делом удивительным. Отец его был ктитором храма в Сокольниках, дядя имел

приход в Литве, а брат Колька зарабатывал на хлеб в качестве референта иностранного отдела Московской патриархии.

Жили они так, что не снилось никаким профессорам, народным артистам и даже фарцовщикам. Огромная квартира на Фрунзенской набережной, дача с двумя бассейнами, баней и бильярдом, а машины они меняли чаще, чем обычные люди ботинки.

Несмотря на это, Иван был парнем скромным, достаток не демонстрировал, лишь изредка позволял себе то на отцовских “жигулях” на работу приехать, то заявиться в канадской дубленке брата Коли.

Вот и тогда он притащил на субботнее дежурство какой-то диковинный фотоаппарат, хромированный, тяжелый, с большим объективом, затвор у которого спускался с солидным жужжанием.

Вечером как нельзя кстати нашлась свободная минутка, и мы давай фотографироваться. Молодые, бестолковые, нам тогда еще и двадцати не было. Поэтому все больше рожи строили, дурака валяли.

Альбом обнаружился в нижней тумбе шкафа, в самом дальнем ряду. Вот они, эти фотографии, стандартного формата, черно-белые. Я позирую на больничном фоне, под белым халатом угадывается хирургическая форма. Все как по заказу. Там же нашлись фотографии институтской поры и времен работы в Первой градской, как раз на вторую книжку, где заглавный персонаж уже малость постарше. Минут за пять я их отсканировал и скопом отослал художнику издательства Андрею Бондаренко.

Тот уже ближе к ночи ответил, что для первой книжки вполне сойдет фотография, где я сижу на полу около койки. А для второй, по мнению Бон-

даренко, самая лучшая та, где забытый ныне фотограф подловил меня у кафедры оперативной хирургии, с папироской во рту, но подобное безобразие не пропустит цензура, так как содержит открытую демонстрацию курения табака, что нынче является абсолютно недопустимым, почти как призыв к свержению власти.

Поэтому над второй книжкой Бондаренко еще будет думать, а фотографию для первой он с чистым сердцем завтра же предложит издательству.

Уже попрощавшись, я вдруг решил внимательно разглядеть выбранную им фотографию во всех подробностях.

На ней я запечатлен сидящим в проходе между столом и четвертой койкой в первом блоке нашей реанимации, рука подпирает щеку. Вид у меня несколько уставший, немного печальный, чтобы не сказать — жалобный. На столе угадываются какие-то бумаги, пузырек дешевого клея и настольная лампа. За мной стоит аппарат для искусственной вентиляции легких модели РО-6, и если приглядеться, то можно увидеть, что ручка регулятора объема у него приспособлена к пластиковой шкале крест-накрест пластырем.

Я тут же вспомнил этот аппарат — с удивительным постоянством я фиксировал всякую ерунду, на долгие годы накрепко врезавшуюся в мозг. У этого аппарата действительно во время работы регулятор объема медленно смещался с каждым дыхательным циклом, и чтоб он не сползал на максимум, его приходилось крепить подручными средствами.

Затем всплыла фамилия больного, что в то дежурство лежал на первой койке, — Мельников. Мельников накануне получил ножом в сердце во время драки на рабочем месте в инструментальном цеху. То, что

на заводах нравы суровые, я убедился за месяц школьной практики в качестве токаря на заводе ЗИЛ.

Мельникова привезли вовремя, моментально взяли на стол, заштопали, по части хирургии там был полный порядок, но из-за недостатка кислорода по причине массивной кровопотери у него пострадал мозг. И он, скорее всего на время, ну а может, и навсегда, превратился в полного дурачка. Лежал и сутки напролет распевал матерные частушки, так что к вечеру мы выучили их наизусть и даже подпевали про себя:

По болоту ходят утки,
Серенькие, крикают.
Мою милую ебут,
Только серьги брякают.

Когда мы утомлялись от этого вокала, то кололи ему седуксен, и на пару часов наступала тишина. Жена Мельникова очень жалела мужа, она была женщиной простой, со своими представлениями о реабилитации в послеоперационном периоде, поэтому нажарила ему полный таз котлет и торжественно вручила их мне в часы приема передач.

— Вы уж там проследите, чтоб Петя все съел, — попросила она, заглядывая мне в лицо, — а то загнется мужик от вашей шамовки больничной.

Мы с Ваней честно, маленькими кусочками, пытались кормить Петю, но тот, еще не отошедший от последствий недавней поножовщины, быстро утомился, насытившись всего-навсего половинкой котлеты.

Котлеты были такие красивые и источали такой умопомрачительный аромат, что мы недолго сопротивлялись искушению. Вечно сытый Ваня съел две,

а я четыре. А потом мы эту огромную миску в холодильник затолкали, совесть все-таки надо иметь.

Это было в субботу, а в понедельник Мельникова перевели в отделение. Его катили на хромированной финской койке, в ногах у него стояла эта миска с котлетами, и он распевал во всю глотку:

Пароход плывет по Волге,
Трубы зеленеются,
Девки едут без билетов,
На пизду надеются!

Санитары отводили глаза, мол, мы здесь совершенно ни при чем, а с дурака спрос невелик.

Да бог с ним, с этим Петей Мельниковым, хотя его слабоумие было и занятым. В это время на противоположном конце блока, на шестой койке, лежал другой человек.

Скорая доставила ее поздним вечером в канун Нового года. Это было не традиционное поступление с улицы, а перевод из другой больницы. Но переводы происходят днем, а тут прикатили на ночь глядя, да еще без предварительного согласования. Бригада пояснила, что в той больнице, куда она поступила позавчера, нет нейрохирургии, а у нас имеется. Поэтому решили везти сюда, ведь кроме изолированной черепно-мозговой ничего не нашли, вот нашим нейрохирургам и разбираться.

Все понятно. Пошли вторые сутки после госпитализации, она помирает, и тому стационару неохота летальностью показатели портить, вот и решили пациентку сбавить, пока не поздно.

А то, что она помирает, было ясно уже при первом на нее взгляде. Лежала серая, с разбитым в кашу лицом, на каком-то грязном одеяле и дышала через раз. А когда в машине измерили давление, а там меньше восьмидесяти в систоле и брадикардия, сомнений и вовсе не осталось.

Как обычно, вяло поругали скорую. Что же вы в таком состоянии везете больную с другого конца города и ничего во время транспортировки не предпринимаете? Хоть бы для понта банку какую прокапали, вы ж не таксисты. А у них стандартный ответ наготове, будто все они одну методичку читают. Мы, говорят, собирались и капать, и колоть, но так торопились, так спешили, что не успели. Им ведь действительно — только бы довезти. Таксисты и есть.

Перед тем как рвануть в ночь на своей кибитке, они сообщили на посешок, что, по их данным, девушку случайно обнаружили на дороге, по всему видно, что ее сбила машина, скорее всего грузовик, от удара она пролетела несколько метров, врезавшись головой в бордюр, а машина конечно же умчалась, найди ее теперь, да и искать никто не будет, это ж ведь не кино.

Мы ее принимали с доктором Мазурком. Он был комсоргом нашего отделения и все время пытался сделать из меня человека. Поддавливал в укромном месте и начинал:

— Леха, — спрашивал он устало, — ты ведь комсомолец?

Я обреченно кивал, понимая, куда он клонит.

— А знаешь ли ты, — продолжал Мазурок, — кто может считаться комсомольцем?

— Каждый субъект, достигший половой зрелости, Юрий Владимирович! — пытался безуспешно ост-

рить я. — И уж особенно тот, кто в состоянии запомнить, сколько орденов у Ленинского комсомола.

Про ордена у комсомола — это был любимый вопрос во всех райкомах на собеседованиях для вступающих в ряды ВЛКСМ. И что орденов этих шесть, знали все, включая совсем уж безнадежных олигофренов.

— Нет, Леха! — вовсе не собираясь поддаваться на мои провокации, торжественно объявлял Юрий Владимирович. — Комсомольцем может считаться тот, кто признает устав и вовремя платит членские взносы!

После чего следовал традиционный вопрос:

— Ты взносы платить собираешься?

Собственно, ради этого все и устраивалось.

Ну и под занавес, получив от меня заверения, что взносы мной будут уплачены в ближайшее время, повеселевший Мазурок обычно советовал:

— Да! Чем дурака валять, ты бы лучше физику учил, Леха!

Какой уж тут дурака валять при таком графике. А насчет физики — это правда. Я из-за этой проклятой физики к тому времени уже третий раз в институт пролетал.

Вот с Мазурком мы и колдовали полночи над этой девушкой. Она толком уже не дышала, сразу на аппарат загремела. Как только ее эти деятели со скорой довели без интубации — непонятно.

Мазурок тогда стал у нее и лечащим врачом. Юрий Владимирович являл собой редчайший пример комсорга, но при этом хорошего и грамотного доктора. В этом смысле Наташе — так звали эту девушку — повезло. А в остальном дела там были совсем кислые. Тяжелейший ушиб мозга, кома. Ни сознания, ни дыхания, ни движения.

Нейрохирурги разводили руками, внутримозговых гематом там не оказалось, оперировать было нечего.

Ее положили в первом блоке на шестую койку, вели консервативно, лечили, не халтурили, но без особых надежд. Хотя она была молодая, всего девятнадцать, мне тогдашнему ровесница, мы-то знали и видели, как и у молодых заканчиваются такие травмы. Если и отек мозга не доконает, так кроме этого есть еще и пневмония, пролежни, сепсис.

Шло время. Она не умирала, но и не улучшалась. Лежала горячая как печка. При тяжелых травмах мозга температура шпарит из-за повреждения центральных структур, и такую температуру ничем не сбить.

А еще к ней приходила мама. Вернее, не совсем к ней. Тогда в реанимацию не пускали. Все контакты были в холле у дверей отделения. Поэтому она не видела свою дочь, а лишь четко являлась к часу дня, беседовала с Мазурком и приносила передачи. Каждый день. Неизменно приветливая и в ровном настроении. Это бывает далеко не всегда, чтобы родственники приходили каждый день. Да. Многие не знают, но пациентов в реанимации навещают ежедневно не так часто, как представляется. Некоторых совсем редко. А иных и вовсе никогда.

Я всегда безошибочно определял, как к тому или иному нашему больному относятся домашние, стоило мне открыть тумбочку, лишь по виду передач.

Передачи, что приносила мама Наташи, были на загляденье. Все бутылочки и баночки разложены, упакованы, подписаны. Что вводить в зонд на завтрак, что на обед, а что на ужин.

И там, в каждой передаче, всякий раз лежал маленький пакет. Точнее, бумажный кулек. К нему чер-

ной аптечной резинкой был прикреплен листочек. Половинка страницы из тетради в клетку. И несколько слов ровным красивым почерком.

*Уважаемые медики. Большое спасибо за заботу о моей дочери Наташе.
Это вам к чаю.*

За все эти долгие дни и недели текст не менялся.

В кульке были конфеты. “Мишки”, “Белочки”. Немного, граммов двести. Как раз на нашу сестринскую бригаду.

Каждый день. Каждый день кулек с этой запиской. И на каждом дежурстве, к каждому вечернему чаепитию мы вытряхивали эти конфеты на блюдце. И я видел, как кто-нибудь из сестер нет-нет да и смахнет слезу.

А ведь те, кто работают в реанимации, они далеко не сентиментальные люди. И чтобы их проняло, это надо постараться. Но у нее, у мамы этой Наташи, получилось. И дело вовсе не в конфетах.

Сами того не замечая, мы стали чаще к ней подходить. Чаще перестилать. Чаще крутить, вертеть, переворачивая с боку на бок. Устраивали ей мытье головы, даже в ванной купали, двое поддерживали на простыне, а так как она не дышала, еще кто-нибудь один проводил вентиляцию с помощью специального мешка. За несколько месяцев комы у нее не появилось ни единого пролежня, и это в отсутствие санитаров.

Однако все понимали, что шансов немного. И Мазурок всякий раз говорил матери, что вероятность положительного исхода невелика. Но та будто и не слышала, все так же являлась к часу дня для беседы, и кулек с запиской был в каждой передаче.

Когда к концу третьего месяца Наташа пошевелила пальцем, то матери говорить не стали, боясь обнадеежить. Может, это какие-то остаточные рефлексy или судорога.

Еще через неделю появились отчетливые движения в правой руке. Спустия три дня она стала приоткрывать глаза на окрик. А еще через неделю стала сопротивляться аппарату. Задышала сама.

Но порой выход из комы после такой травмы — это еще ничего не значит. Можно начать дышать, даже ходить, но остаться растением. На всю отмеренную жизнь. Сколько мы выпустили таких. Лежат, уставившись в потолок невидящими глазами.

Я подтаскивал к ее койке стул, садился рядом, вкладывал руку в ладонь и приказывал:

— Пожми руку!

И чувствовал, как она своей теплой слабой кистью пытается сжать мои пальцы.

Чтобы исключить бессознательное, говорил:

— Пожми два раза!

Замирая, ждал. И она пожимала. Раз. И через секунду другой.

Сердце мое тут же ускоряло бег. Значит, не растение. Значит, есть надежда. Я не уходил сразу, сидел еще несколько минут и просто смотрел.

В день, когда ее решили отключить от аппарата, у ее койки собралось все отделение, даже буфетчица и сестра-хозяйка.

Мазурок сам вытащил ей трахеостомическую трубу и громко спросил:

— Как зовут тебя?

И она просипела:

— Наташа!